

НОВАЯ ПОЛЬША

№9
(188)



2016

Место Польши в Евросоюзе

Тадеуш
загадочный

Конвицкий

—
прохожий

Памяти Владислава Ходасевича

ЧЕСЛАВ МИЛОШ В ПЕТЕРБУРГЕ

Александр Вертинский в Польше
— его поклонники и враги

Польско-итальянский диалог
об Александре Солженицыне

ВАРШАВА

ISSN 1508-5589



**Никола
Кьяромонте,
Густав
Герлинг-Грудзинский**

ДИАЛОГ О СОЛЖЕНИЦИНЕ

Никола Кьяромонте: Писательская судьба Солженицына за пределами России кажется мне столь же необычной, сколь и симптоматичной для культурной и нравственной ситуации в Европе. С одной стороны, у нас есть писатели, критики, так называемая культурная публика (что сегодня означает: просто разбирающаяся в новинках моды). Подавляющее большинство таких людей называет Солженицына «документальным» писателем, автором с сильным и благородным характером, но скромными художественными возможностями, провозвестником «социализма с человеческим лицом», то есть моралистом, а не политическим (и потому малоубедительным) писателем; смелым поборником «десталинизации» (впрочем, кто на Западе не был сторонником «десталинизации», с тех пор как Хрущев положил начало этому не очень понятному и трудному для определения процессу?). Словом, Солженицын считается здесь замечательным писателем и человеком с характером, но если речь идет о литературном мастерстве, то он сильно отстает от наших ошеломляющих тонкостей.

С другой стороны, если поговорить с людьми простыми, восприимчивыми и чуткими, которые прочли «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Раковый корпус», то нельзя не заметить того сильного впечатления, какое производят на них эти книги. Будь то итальянцы или французы, англичане или американцы, в Солженицыне они находят тип писателя, от которого в своих странах давно уже отвыкли, — писателя, говорящего одновременно уму и сердцу. Писателя серьезного (чтобы не употреблять слова «великий», которое в этом случае ничего не объясняет). Независимо от возраста эти люди открывают на страницах книг Солженицына образ общественного мира и моральной вселенной. Общественный мир — это сегодняшнее советское общество, описанное снизу доверху, начиная с лагерей, тюрем и больницы для раковых больных, продолжая несчастным средним классом бюрократов и кончая высокими и высшими представителями режима. Но этому серьезному и подробному изображению сопутствует как бы порождаемый им спокойный и сдержанный взгляд на человеческое бытие. В этом взгляде юные и пожилые читатели находят не ответы на отвлеченные вопросы, а подтверждение элементарного факта, чрезвычайно затемненного сегодня: что высокое назначение человека — путь истинного освобождения — состоит, согласно античной формуле, в способности к «страданию и пониманию», а не в наслаждении своим раздутым до крайности «я». Этим читателям заключенный Герасимович из романа «В круге первом» напоминает: то, что мы привыкли называть «бессмертной душой», не присуще нам изначально, а добывается нами, и только немощные, те, кто добровольно или силой оказывается вне мира («вольняшек», «жадно и неумело пользующихся отпущенной им свободой»), способны поймать такую добычу. «Их ожидало только худшее. Но в душах их был мир с самими собой. Ими владело бесстрашие людей, потерявших все до конца, — бесстрашие, достигающееся трудно, но прочно». Так в конце романа «В круге первом» автор пишет об отправке группы заключенных из шарашки вновь за колючую проволоку лагеря. В читателях, о которых я говорю, подобные слова вызывают потрясение не сами по себе, а потому, что порождены они скрупулезно и, без сомнения, достоверным описанием действительности. В каком-то смысле можно сказать, что Солженицын не столько «представляет», не столько «дает волю фантазии», сколько укореняет в совести читателя существование действительности, которая становится предметом его изображения. Поэтому в его книгах виден ответ, а точнее — ясные контуры ответа на то ужасное смятение, которое, если даже и не вызвано авторитарной системой, терзает сегодня каждого сознательного человека, смятение от повседневной гонки жизни, лишенной смысла, жизни, в которой человек чувствует, что день ото дня губит свою душу.

Густав Герлинг-Грудзинский: Душу... В «культурной среде» сегодня это слово употребляется редко, оно считается атрибутом или старосветских попов, или сумасшедших. Станислав Виткевич



в вышедшем недавно в Италии романе «Ненасытимость», говорит, что о душе «знают сегодня кое-что только сумасшедшие». Гениальный Виткевич! Вот как в 1927 г. он пророчил ликвидацию души с помощью Новой Веры и пилюль Мурти-Бинга: «Вера и таблетки Джевани сиюминутно давали много, каждый миг доставляя средства для борьбы с личностью (а что есть зло, как не чрезмерно буйно разросшаяся личность?), однако убивали в вероприверженцах и таблеткопоедателях всякую способность предвидеть будущее, соединять мгновения жизни в цельную конструкцию предстоящего. Происходило полное распыление личности на протяженность бессвязных моментов; возникала готовность к подчинению любой, даже самой дурацкой механической дисциплине»¹.

Я читаю сейчас «Воспоминания» Н.Я. Мандельштам. Она пишет о «психической слепоте советских людей», действующей «разлагающе <...> на всю их душевную структуру». И прибавляет, что «поколение добровольных слепцов» уже уходит со сцены по естественным причинам — в силу старения. Но что — спрашивает семидесятилетняя спутница жизни замученного поэта — передали они по наследству своим потомкам? Много ли среди обладающих зрением тех, кто не только смотрит, но и видит? Видящим, а не только смотрящим, без сомнения, следует назвать Солженицына. Его видение выходит далеко за рамки сугубо российской проблематики, можно лишь сказать, в какой степени оно пропитано образом России. Простых, чутких и восприимчивых западных читателей Солженицына трогает и заставляет думать более всего то, что его книги возвращают значение и как бы чистое звучание девальвированным, казалось бы, и совершенно затасканным понятиям: душа, личность человека, добро и зло, справедливость, честность, любовь, правда, жажда бессмертия. Иными словами, восхищение Солженицыным являет собой скрытый, а зачастую едва ли осознаваемый бунт против мира, который «убивает в людях всякую способность предвидеть будущее, соединять мгновения жизни в цельную конструкцию предстоящего», который «распыляет личность на протяженность бессвязных моментов, чтобы тем проще ее подчинить механической дисциплине». Если бы творчество Солженицына ограничивалось лишь «Одним днем Ивана Денисовича», мы могли бы говорить только о *саптен хоттентум* советского строя, как Герцен говорил о *саптен хоттентум* царизма в связи с «Записками из Мертвого дома» Достоевского. Но в «Матренином дворе», «Раковом корпусе» и даже в романе «В круге первом» Солженицын поднимается над советской действительностью и вступает в универсальные области. Праведник, без которого не стоит ни одно село, ни один город; чем живет и как умирает человек; внутренняя свобода, бросающая вызов силе и насилию. Удивительно, что есть еще в мире писатель, который нашел в себе смелость так думать и так говорить. На Западе писателей, за очень малым исключением, не заботят «милые банальности» такого рода. Здешние литературные «тонкости», как ты их называешь, — это искусство делать вид перед собой и другими, что жизнь и литература не стоят на месте, это изощренная и вместе с тем бессодержательная игра в действительность.

Никола Кьяромонте: Да, западным литераторам произведения Солженицына кажутся добросовестно документальными и не более. Что ж, мы знаем, что современные писатели не питают особого уважения ни к нравственности, ни к правде. Это не случайно, что итальянский писатель предложил формулу «литература как ложь». Формулу, гораздо более традиционную в Италии, чем это может показаться на первый взгляд, и подходящую почти ко всему, что создается сегодня на Западе. Может, мы забыли, что выдающийся французский интеллектуал Мишель Фуко, приглашенный в Коллеж де Франс, прочитал в строгих стенах этого заведения речь, в которой «воля к истине» была названа репрессивной формой свободы слова?

У меня создается впечатление, что в этом месте мы доходим до настоящего «железного занавеса», который отделяет нынешнюю западноевропейскую интеллигенцию от интеллигенции Восточной Европы. Карло Бо, один из очень немногих итальянских критиков, которые по достоинству оценили творчество Солженицына, говорит следующее: «Это верно, что за художественную свободу гораздо серьезнее борются сегодня в стране Солженицына, чем где бы то ни было (скажем прямо, чем у нас); это объясняет и то, почему их литература более аутентична, более благородна, правдива, чем все наши неоднозначные особенности и приемы». От себя я бы еще добавил, что в этом контракте

¹ Перевод А. Базилевского.



речь идет о вещах гораздо более серьезных, чем просто свобода искусства или даже политическая свобода. Речь идет о ценности человеческого бытия, которую здесь пытаются странным образом принизить и ниспровергнуть, в то время как там ценой страдания заново открывают его основы. И как мне представляется, нет вещи более важной для того, кто занимается интеллектуальным трудом и воспитывает в себе право на интеллектуальную свободу, чем найти необходимое единство между тем, что истинно, тем, что справедливо, и тем, что пробуждает в человеке стремление к истине и справедливости. Словом, мы должны знать, является ли трагедия, переживаемая народами Запада и Востока вот уже более пятидесяти лет и вызывающая содрогание в человеческой совести, фактом, достойным внимания, или это тоже что-то вроде ледяной арены для искусных фигуристов.

Густав Герлинг-Грудзинский: Я согласен с Карло Бо, поскольку знаю, что он имеет в виду литературу более или менее запрещенную. Явление касается, впрочем, не одной только России. Каждый раз «оттуда» приходит книга, непременно весомая, превосходящая по своим качествам новшества, захваленные на западных книжных рынках. Возникает естественный вопрос: почему? В ответ мы слышим: «ценой страдания». Да, это направление в русской литературе давнее и глубокое. В дневнике Надежды Яковлевны Мандельштам есть характерный эпизод. Жена поэта предлагает ему совместное самоубийство, чтобы положить конец страданиям. Осип Эмильевич не выдерживает: «Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой?». И Надежда Яковлевна вдруг вспоминает известный фрагмент из «Жития протопопа Аввакума»: «Протопопица <...> на меня, бедная, пеняет, говоря: „Долго ли мука сея, протопоп, будет?“ И я говорю: „Марковна, до самых смерти!“».

Это звучит как апология страдания. И в какой-то мере так оно и есть. Однако не стоит впадать в крайность. Страдания прежде всего унижают. Об исключительно унижающей роли страдания речь в первой книге Солженицына. Когда Иван Денисович Шухов вечером на лагерной койке мысленно подытоживает свой «ничем не омраченный, почти счастливый день», мы видим, как машина тоталитарного государства выдавливает из заключенного остатки его инстинкта свободы. Но страдание и унижает, и может очищать. В других книгах Солженицына действует — впрямую или на заднем плане — точно такая же унижающая человека советская «концентрационная вселенная», а вместе с тем мы встречаемся в них с совершенно новым элементом. Люди, у которых отняли, казалось бы, всё, открывают в себе несравнимо большие духовные резервы, чем те, у которых, казалось бы, всё есть. В сущности, единственная тема лучших произведений Солженицына — это последнее, пограничное испытание человечности. За минуту до смерти Шулубин из «Ракового корпуса» чувствует, что «что в нем — это не всё он», что есть в нем «что-то уж очень неистребимое, высокое очень, какой-то осколочек Мирового Духа». Что такое этот «осколочек»? Что есть в нас неистребимое и высокое? Такие вопросы, придающие смысл и жизни, и литературе, всё реже задает себе современный человек в нормальных условиях. Это вопросы религиозные, даже если человек и не верит в Бога. Поэтому приходится слышать о Солженицыне как о писателе, типичном для «религиозного вливания», каким в 1956-1957 гг. стало для СССР массовое возвращение каторжников после долгих лет страданий из тюрем, лагерей и ссылок. Я бы не пренебрегал этим утверждением. Не имеет значения, является ли и в какой мере Солженицын писателем сознательно религиозным, главным мне кажется его чувство долга, без которого не может существовать человеческий мир. В небольшом шедевре «Пасхальный крестный ход» сильнее, может быть, чем изображение хулиганства молодежи, посланной в Переделкино, поражает образ ясных и чистых лиц в праздник Светлого Воскресения. Конечно, эти несколько страниц мог написать только большой художник.

Никола Кьяромонте: О том, что относится к содержанию не меньше, чем к форме, то есть о художественном мастерстве Солженицына, я процитирую несколько слов итальянской исследовательницы русской литературы Лии Вайнштейн: «Исходя из чеховского принципа, что в литературном произведении не должно быть ничего случайного или ненужного, и применяя его последовательно, Солженицын сумел достичь полного слияния формы и содержания, темы и стиля. Иван Денисович говорит своим языком, равно как Нержин, Матрена, Костоготов или Немов. Каждое слово выполняет свою определенную и незаменимую функцию, которую трудно перевести. Чтобы по достоинству оценить Солженицына, нужно читать его в оригинале».



От моих знакомых, читающих по-русски, я слышу то же самое. Создание нового языка писателем требует, однако, как я думаю, чего-то большего, нежели обычного стилистического мастерства: оно требует слуха, чуткого к живому языку, к голосу своего народа и своей эпохи; или, если угодно, к формирующейся нравственной и общественной действительности. Мне трудно здесь что-либо утверждать, поскольку я не читал Солженицына в оригинале и никогда не был в России. Но может быть, ты, знающий «иной мир» советских лагерей и зеков, сумеешь объяснить, в чем заключается и что значит для русского народа новизна языка Солженицына. Итальянские переводы Солженицына, в особенности двух его больших романов («В круге первом» и «Ракового корпуса»), настолько слабы по сравнению, например, с английскими, что в какой-то мере оправдывают невнимание критиков и писателей.

Густав Герлинг-Грудзинский: Вспомним, прежде всего, Пастернака: «...мне искусство никогда не казалось предметом или стороной формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания. Мне это ясно, как день, я это чувствую всеми своими фибрами, но как выразить и сформулировать эту мысль? <...> Произведения говорят многим: темами, положениями, сюжетами, героями. Но больше всего говорят они присутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах „Преступления и наказания“ потрясает больше, чем преступление Раскольникова».

Чеховский принцип, сам по себе правильный, объясняет немного: любой серьезный писатель старается писать так, чтобы в его произведениях не было ничего случайного и ненужного, чтобы слово выполняло в них свою определенную и незаменимую функцию. Почему же эту функцию слова не сможет передать хороший переводчик до тех пор, пока мы находимся в сфере чисто коммуникативных задач языка? От перевода ускользает всё остальное, то, что Пастернак назвал таинственной и скрытой частью содержания. Это еще полбеды, когда речь идет только о теме, положениях, сюжетах и героях: в последнее время у нас нет недостатка в прекрасных переводах Достоевского, и нерусский читатель ощущает присутствие искусства в «Преступлении и наказании» так же остро, как и русский. Но иногда, именно как в случае с Солженицыным, к средствам искусства, названных Пастернаком, добавляется еще и язык, выросший на родной почве и подпитываемый эхом личных и весьма специфических переживаний. Этот язык наиболее труден для перевода. Во время моего пребывания в России я выучил русский язык дважды. Сначала — для нужд следствия и повседневного общения с товарищами по тюрьме и лагерю. Затем — для понимания, в том числе того, что они о себе говорили, всех намеков, пауз, молчания, особых выражений, как-то иначе произнесенных или оборванных фраз. И вот когда я вспоминаю то время и читаю в оригинале Солженицына, у меня постоянно возникает ощущение, будто кто-то, кто в течение многих лет привык к шепоту, заговорил вдруг громко, в полный голос. Во всех известных мне переводах особенный, драматичный тон двухуровневой прозы Солженицына я нашел только в польском переводе «В круге первом» Михала Канёвского². Как знать, может, здесь действует какой-то закон общего национального и политического опыта? Ведь в конце концов Солженицын — это еще и русский политический романист.

Никола Кьяромонте: Хотя и в простой форме защиты и признания «прав человека и гражданина», но Солженицын и его преследуемые соратники (А. Синявский, Ю. Даниэль, А. Амальрик) затрагивают важную политическую проблему. Говоря о Солженицыне, нельзя не говорить о политике.

Эти русские пишут почти исключительно о России и с мыслью о России. Но в действительности именно благодаря тому напору, с каким они добиваются своих прав как писатели и русские, они заставляют и нас задуматься над вопросом свободы и справедливости повсеместно: в условиях современного промышленного и технологического общества, под давлением государственных аппаратов, оснащенных, как никогда прежде, инструментами репрессий. Наверное, можно сказать, что Солженицын не выступает здесь ни пессимистом, ни оптимистом, он просто решил не молчать. В то время как пессимизм, если мы говорим о России, ощущается у Амальрика. Я помню его слова: «Массовой идеологией этой страны всегда был культ собственной силы и обширности, а основной темой ее культурного меньшинства было описание своей слабости и отчужденности, яркий пример чему — русская литература».

² Псевдоним Ежи Помяновского.



Когда я анализирую ситуацию в Западной Европе, за исключением, может быть, Англии, где история отношений между интеллектуалами и обществом совершенно иная, чем в других странах континента, мне трудно говорить о таком же пессимизме. С другой стороны, я считаю, что самый страшный враг человечности сегодня — это оптимизм, в какой бы форме он ни проявлялся. Поскольку оптимизм означает нежелание думать из опасения сделать определенные выводы. Я считаю также, что первым вопросом, какой следует себе сегодня задавать, это не вопрос «Что делать?», а вопрос «Что думать?». Отсюда огромная ответственность интеллектуалов. Интеллектуалы представляют собой меньшинство; в этом меньшинстве люди готовы взять на себя ответственность, то есть думать не только как специалисты. Такие люди в любой стране немногочисленны. Следует открыто признать себя меньшинством, но отнюдь не бессильным. Напротив, мы тем более сильны, чем важнее для нас необходимость думать и выражать свои мысли любой ценой по сравнению с необходимостью действовать. Что — замечу — невозможно, когда находишься в изоляции; мы должны ощущать себя связанными договором, который не признает никаких политических и идеологических границ.

Густав Герлинг-Грузинский: В России такие различия между мыслью и поступком вполне традиционны. Бескомпромиссная, смелая мысль и высказывание во что бы то ни стало того, о чем ты думаешь, приравнивается там к поступку. В сентябре 1967 г., во время «обсуждения» «Ракового корпуса» на заседании секретариата Союза советских писателей, А. Сурков в какой-то момент обратился к Солженицыну: «Вы должны сказать, отмежевываетесь ли вы от той роли лидера политической оппозиции, которую вам приписывают на Западе?» На что Солженицын не без иронии ответил: «Алексей Александрович, ну, уши вянут такое слышать — и от вас: художник слова — и лидер политической оппозиции? Как это вяжется?». Вся суть в том, что в России и благодаря традиции, и особенно в нынешней ситуации, можно и даже нужно их «увязывать». Нужно только выражение «политический лидер» понимать не совсем буквально. Мы помним из романа «В круге первом» высказывание о писателе (разумеется, выдающемся), который в своей стране (разумеется, несвободной) становится «второй властью». Из опубликованных Солженицыным после выхода в свет «Одного дня Ивана Денисовича» писем читателей в завершение нашего разговора стоит привести одно высказывание: «В России писатели всегда занимали особое место. Хоть дела и шли, но нам всегда жилось лучше, если у нас были Тургенев, Толстой, Чехов. Нам мало было писателя хорошего или даже великого. Нам нужен был писатель, которого можно любить. Была в России Ясная Поляна Толстого, было Мелихово Чехова, а теперь есть Рязань Солженицына»

«Культура» 1971, № 4
KULTURA I PARYSKA